

«МЫ ЖИЛИ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ...»

*(Беседа с писателем,
ветераном Великой Отечественной войны
Евгением Львовичем Войскунским)*

В одном из московских районов с космическим названием «Солнцево», в самой ближней к небу квартире многоэтажки с видом на школу, окна и крыши соседних домов живет удивительный человек — писатель Евгений Львович Войскунский.

Он всегда встречает гостей у лифта, за его спиной до светлого пятна квартирной двери протяженный коридор, словно длинная его жизнь, начавшаяся в 1922 году на Красноармейской улице напротив табачной фабрики в заграничном ныне Баку. Об этом и еще многом он рассказал в своем мемуарном романе «Полвека любви»: там и про славную оборону Гангута, годы Великой Отечественной войны, про фронтовое творческое становление, про годы службы в Военном-Морском Флоте СССР и многое, переставшее быть только личной жизнью, а стало спаянным воедино с бесценным историческим опытом страны.

Долго я мучился вопросом: «Надо ли беспокоить Евгения Львовича?» Девяностосемилетний мудрец заслужил покой. Сегодня его почти никто не беспокоит, кроме хороших (теперь уже чаще новых) товарищей да нескольких учеников, что еще раз подтвердилось в дни праздни-

вания 85-летия снятия блокады Ленинграда. Одно из последних блокадников и уж точно единственный из них профессионального писателя — не вспомнили (как это ни грустно), не рассказали о нем по телевидению, не издали его собрание сочинений, не отвезли на встречу в Бундестаг или хотя бы в Государственную Думу, не вручили высшую награду Родины за честное многолетнее служение на поприще русской литературы.

Приступая к беседе, в первую очередь размышлял о чудесном факте такой беседы как таковой, а еще о возможности узнать ответы на мучающие меня вопросы.

Евгений Львович не стал отвечать на вопрос о смысле жизни, логично избегая повторения высказываний предшественников. Но все же счел возможным уточнить, что главное — жить по избранному для себя нравственному закону. А звезды над головой и обитаемые берега его герои знают, как древние греки свое Средиземное море, потому что имена Евгения Войскунского и его брата Исаия Лукодьянова (они — соавторы) давно в числе известнейших фантастов литературного поколения второй половины прошлого века.

Мало кто не читал в те годы их «Плеск звездных морей», «Экипаж «Меконга» и «Прощание на берегу»... открывших, по мнению критики, новую «звездно-морскую» страницу в научной фантастике.

Для меня он не только пример долголетия, но и поразительного трудолюбия. Почти каждую постсоветскую пятилетку выдавал он на-гора новое произведение.

И секрет оказался прост — надо соблюдать дисциплину. Этим он мне напомнил старого князя Болконского, поражающего читателей уже полторы сотни лет организованностью жизни. На такое сравнение Евгений Львович ответил, улыбувшись, что удивлен подобным сопоставлением, одно отличие, по его мнению, сразу же бросается в глаза: жестковат был князь пресветлый.

Жестковат и Евгений Львович, когда дело касается главных для него вопросов. Это я всегда чувствовал в разговорах с ним, писателем-ветераном-воином, чей славный боевой и литературный след, видимо, и не требует признания от профанов нынешнего времени.

Он столь же мало тщеславен, как и упоминаемый выше князь Николай Андреевич (чьи слова как раз, кстати, будет вспомнить: *«...ежели кому нужно, то тот и от Москвы полтораста верст доедет до Лысых Гор, а ему никого и ничего не нужно. Он говорил, что есть только два источника людских пороков: праздность и суеверие, и что есть только две добродетели: деятельность и ум...»*, — иллюстрацией к моим сетованиям на «забытость»).

Нет, на звездном небе всякая звезда свое имя имеет, если даже не всякий слепец ее различить может. Видимо, времена слепцов настали. Но звезды по-прежнему величественны. Стало быть, слепцам требуется поводырь, т.е. мыслитель.

Понял я, что интересует меня именно образ мыслей Евгения Львовича Войскунского. Когда же мы в очередной раз договорились о встрече, а значит, и дружеской беседе, то вопросы мои не были случайными, они складывались и зрели годами. Это были вопросы читателя, критика и писателя-современника. Захотелось мне еще раз убедиться в правоте высокой философии Иммануила Канта, сказавшего однажды и на века, что именно в образе мыслей, а не в одних лишь поступках заключается то высокое достоинство, которое человечество может и должно приобрести себе.

— Евгений Львович, недавно увидел свет ваш новый роман «Балтийская сага». Роман огромный по размеру, формат его нынешнему времени непривычен. А меня его появление обрадовало. Он словно написан и издан вопреки всем временным пристрастиям человечества.

Исходя из самого названия «сага» становится ясно, что вами была предпринята попытка обобщить все известные мифы и предания о деятельности России на Балтике, начиная с первых лет двадцатого века.

Зная направление вашего творчества, мне абсолютно ясно, что вы закрывали, может быть, последнюю прореху в интересующей вас всю жизнь балтийской морской теме.

«Сага» подразумевает обязательный героический элемент. Его в вашем романе предостаточно. Тут и гражданская война, и Кронштадтский мятеж, и Финская зимняя война, и Великая Отечественная... Завершаете вы свой роман событиями века двадцать первого...

А кроме этого — ваша Сага, продолжение рассказа о балтийском братстве русских моряков, посвящавших свои жизни великому служению Отчизне.

И тут я, как читатель, понимаю, в очередной раз понимаю, насколько мелко все тому современников, как приземлены, излишне прагматичны их стремления. Вот мы подошли к первому вопросу:

«Была ли у вас задача, показать глубочайшие духовные изменения в человеке? Ведь бытовой трагичности в жизни не убавилось, но пропала, если повторить за древними греками — судьбоносность и ощущение Высшего служения».

— Свою задачу я формулировал иначе: рассказать о трудных судьбах людей моего поколения, подросшего к войне, воевавшего и выбитого войной. В своих книгах — от «Кронштадта» до «Балтийской саги» — я как бы вернулся в свою молодость. Военная Балтика позвала меня, ветерана Великой Отечественной, на полуостров Ханко, где мы в сорок первом держали оборону, в «суп с клецками», как мы называли густо заминированный Финский залив, в блокадные дни и ночи Кронштадта. Эти книги о героике и мрачной повседневности войны, о голоде и о любви, о боли страшных потерь — своего рода групповой портрет поколения.

«Глубочайшие духовные изменения»? Трудный вопрос. Изменения, разумеется, происходили. Но у людей моего поколения, которым повезло выжить, судьбы складывались по-разному в прямой зависимости от послевоенных событий в жизни страны. Тут вот в чем дело. Мы были, можно сказать, политическим поколением, то есть определенным образом — *по-советски* — воспитанным. Для нас дела общегосударственные обладали бесспорным преимуществом перед личными. Изо дня в день газеты и радио твердили, что мы самые-самые, что нас ведет самая мудрая партия во главе с Гением Всех Времен.

А мы жили своей жизнью. На уроках русской литературы писали «образ Татьяны». На бурных комсомольских собраниях ругали лоботрясов, брали «на общественный буксир». Радовались победе испанских республиканцев под Гвадалахарой, переживали гибель Лукача. Влюблялись в Любовь Орлову. Не нами была устроена эта жизнь, но мы приняли ее такой, какая она есть, и считали, что она была бы еще лучше, если б не враги. Да, нам с пионерского детства внушали, что враги всюду — снаружи и внутри. Что-то, правда, их многовато...

Но вот победили в долгой кровопролитной войне. Хорошо помню, какой подъем был у нас в стране, радость какая. Разгромили фашистских захватчиков, победили и свои, внутренние, беды — разрушения, нехватку продовольствия, низкий уровень жизни.

Однако вскоре, надвинулась, разрастаясь все шире, темная туча репрессий. «Мингрельское дело»... Нашумевшее «ленинградское дело». Зачем Сталину понадобился суд с ужасающе фальшивыми обвинениями? Расстрел руководителей ленинградской обороны? Зачем будоражить страну ложью «дела врачей»? Сталин явно готовил новую волну террора. Новый тридцать седьмой год. Ты что-то разговорился, народ-победитель? Захотел вернуться от несвободы? От обязатель-

ной идеологии? Не выйдет! Заткнуть рот писателям! Напугать формалистов-композиторов! Прогнать генетиков! Кто там еще выжнул критическое слово? Молчать! Выходы строиться!

Свободолюбивый человек был для Сталина ненавистен. Потому и держал население в страхе.

Вот почему смерть Сталина, а затем и XX съезд со знаменитым докладом Хрущева приобрели поистине судьбоносное значение. Вот тут-то и произошло, вернее, получило сильнейший импульс, может, не «глубочайшее», но значительное духовное изменение человека. Нет, не поголовное. Сталинизм прочно засел в головах многих, очень многих советских людей. До сих пор сидит: результат тотального господства «единственно правильной» идеологии, искривлявшей мозги. Но далеко не все из нашего — воевавшего — поколения превратилось в нерассуждающих олухов, в героев Оруэлла. Пусть медленно и мучительно, но прозревали, выдирались из опостылевшей ортодоксии, учились мыслить самостоятельно. Вот почему приняли всей душой оттепель в шестидесятые и крах тоталитарной системы в девяностые.

— Вы осмысливаете прошлое, я — живу настоящим и чаще всего думаю о дне нынешнем. Но должен сказать, что ваше виденье решения современных проблем более чем актуально.

За годы нашего общения я знаком вам и как редактор «Литературной газеты», и районной многотиражки, и издатель Антологии современной литературы России «Наше время», и редактор-составитель Антологии русской поэзии о Великой Отечественной Войне «Война и Мир».

А теперь жизнь, спустя четверть века, привела меня в школу преподавать язык и литературу. Там почти сразу вспомнил не совсем прежде понятное ваше высказывание, что «нам нужен новый век просвещения».

Именно ваши слова приходят на память и становятся девизом в моей преподавательской деятельности.

Это вступление. Теперь вопрос. Вы вели семинары фантастов в Малеевке. Действительно ли вы верили, что человечество станет единым не только территориально, но и в духовной зрелости сможет воссоединиться? Об этом же вы писали в «Плеске звездных морей»... Могли ли вы и ваши молодые коллеги представить день нынешний? Каким он виделся вам? Сбылись ли самые черные видения будущего?

— Ни мы с Лукодьяновым, моим соавтором по фантастике, ни мои друзья Аркадий Стругацкий, Георгий Гуревич, Сергей Снегов, Север Гансовский, Дмитрий Виленкин — конечно, не могли представить себе нынешний день. Среди нас не было Нострадамуса, который сумел бы предвидеть и предсказать внезапное крушение такой могучей твердыни, как Советский Союз. Переход от «развитого социализма» «обратно» к капитализму? Ну что вы, что вы, это никак невозможно. Будущее время в книгах советских фантастов должно было быть только коммунистическим. Разумеется, в книгах, обращенных к будущим временам, изображалось разумно устроенное общество — ну, похожее на «социализм с человеческим лицом». Никакого насилия, коррупции, воровства. Если виделись черные, нехорошие черты, то в придуманных государствах, в так называемых антиутопиях, как, например, в «Часе Быка» Ефремова, в нашем с Лукодьяновым «Очень далеком Тартессе».

Коммунизм? Идея прекрасна, и исторически понятно, какой она обладала притягательной силой. Но на практике она обернулась исторической катастрофой. Вряд ли можно все еще верить в этот проект общественного устройства.

— Почти семьдесят лет вы в литературе. Что для вас творчество? Каковы

особенности вашей работы с текстом? Как рождается идея, как она обретает плоть? Когда вы ощущаете, что герои живут сами по себе и пытаются переформатировать прошлое, вы помогаете им?

— Творчество для меня не просто работа, но и способ существования. Это — сравнительно редко случающееся соединение природных данных (того, что «от Бога»), воображения и опыта души. Идея и рождается из этой гремучей смеси. У меня — главным образом из жизненного опыта. Бывало — из случайного образа, вспыхнувшего в памяти, ну а дальше — работа воображения. И — неременное условие: *правда*. Изображение правды жизни, «поиск правды» по определенному дневнегреческого мудреца.

Работаю я медленно, каждую фразу прокручиваю в контексте. Раньше работал на пишмашинке, потом — недолго — на компьютере, а в последнее время пишу от руки. Мои персонажи обычно «послушны», но бывает — как бы заявляют протест: что-то ты, отец, не туда меня ведешь. И приходится искать замену в сюжете либо в характере. «Писать трудно, брат», — так говорили когда-то писатели из «Серапионовых братьев».

Отрицательные герои... любите ли вы их? У вас в книгах их совсем немного... А в жизни — все наоборот.

— Отрицательных героев не люблю. А кто их любит? Разве что читатели с отрицательным устройством психики. Да и вообще, дело не в любви или нелюбви к отрицательным персонажам, а в том, что их присутствие в литературе обусловлено их присутствием в действительности, то есть в жизни. Человек несовершенен, это известно очень давно. Каин обиделся на Авеля, родного брата, за то, что бог принял жертву пастуха Авеля — мясо животных, а жертву земледельца Каина — плоды земли — отверг. При этом Каину, разумеется, не могло и в голову прийти, что совершенное им убийство символизирует начало исторически значимого перехода от архаичного скотоводства к прогрессивному земледелию. Что бы Каин ни символизировал в глазах историков, он для читателей — убийца брата, первый письменно зафиксированный негодяй библейских времен, за которым потянулась длинейшая вереница отрицательных персонажей мировой литературы. Без них вроде бы и нельзя: люди не будут знать, что считать Злом, и от этого туман непонимания надвинется на Добро. Но, повторю, человек несовершенен, и это значит, что и у положительного героя могут быть какие-то нехорошие (отрицательные) черты характера. И если он, осознав это, испытывает чувство вины и раскаяния, то вот она — внутренняя борьба — и представляет собою серьезнейший предмет литературного произведения.

Мне уже говорили читатели, что в «Балтийской саге» почти нет отрицательных героев. Да, их немного, и они не главные, а второстепенные. Главные персонажи романа — люди положительные. Как и в жизни, положительных людей больше. Но, приступая к работе, планируя роман, я вглядываюсь в персонажей не с намерением поделить их на положительных и отрицательных, а с задачей изобразить живые характеры.

— В 70–80 годы прошлого века читателями были миллионы современников. Но они любили и писать письма авторам понравившихся им книг. Андрей Битов целую повесть на материале подобных писем создал. А, например, Николаю Рыленкову (мне рассказывала его вдова) письма приносили мешками. Писали вам письма? Что-то особенно запомнилось? Нужны ли писателю подобные контакты?

— Письма мне писали, конечно. И в интернете появляются отклики. Главным образом, положительные. Но бывали и критические замечания. Одно мне запомнилось. Когда вышел мой роман «Кронштадт», стали приходиться письма,

и среди них было одно сердитое. Участник войны, бывший балтийский моряк, попенял мне за то, что я описал, как в сентябре 1941-го линкор «Марат» огнем своих башен остановил на Приморском шоссе, у Стрельны, немецкую танковую колонну, — за то упрекнул меня читатель, что, описав подвиг «Марата», я не упомянул о боевых действиях другого линкора — «Октябрьская революция». Дескать, у «Октябрины» было не меньше боевых стрельб, чем у «Марата», и если бы я в том сентябре был в боях на Ленинградском фронте, то написал бы более точно. В ответном письме я объяснил, что не упомянул «Октябрину» не потому, что не знал об ее боевых заслугах, а потому, что ее артиллерия работала по другим целям, — а я писал не военно-историческую статью, а роман. И еще я сообщил моему критику, что в сентябре действительно не был в боях под Питером, потому что был в боях на полуострове Ханко. Ответа на мое письмо не последовало.

Письма читателей — вещь естественная. Вот только они теперь часто не на бумаге пишутся, а в интернете, на многих сайтах, — не за всеми уследишь.

— Как вы относитесь к критике? Булгаков, например, коллекционировал критические выпады в свой адрес. Если критика оказывалась вам полезной, расскажите...

— Литературная критика, несомненно, нужна. Это вообще старинный жанр, сопровождающий русскую литературу едва ли не с самого ее начала. В советские времена — хрущевские, брежневские — пробивалась к читателям и хорошая, правдивая литература, и работали такие честные и добросовестные литературные критики, как Дедков и Турков...

— Не кажется ли вам, что в последние десятилетия книги издаются в «пустоту». Абсолютно непонятно, кто наш читатель... Да и ряды коллег-ровесников сильно поредели. Не мешает ли работе подобное «одиночество»?

— Да, кажется. В прежние времена, доперестроечные, я, в общем, знал своих читателей. Много раз встречался с ними в библиотеках, в вузах. Но с тех пор, в переходном процессе, когда перестал давить на плечи каменный груз обязательной идеологии и наступило время рыночной экономики — трудное время «первоначального накопления», изменился и читатель. Книжки очень подорожали, их тиражи уменьшились, заметно понизился интерес к серьезной литературе и возрос к развлекательной. Читающая держава Россия ныне читает все меньше и меньше.

Это один из признаков деградации культуры — явления опасного, беспокойного, чреватого вандализмом. Я уже не раз высказывал мысль о том, что Россия нуждается в новом веке просвещения. Иначе не достичь смягчения нравов, прекращения пропаганды ненависти, ожесточенного поиска врагов, воспитания, начиная с детского сада, доброжелательности, элементарной вежливости... Утопия? Ну почему же... Разработать государственный проект, подготовить корпус преподавателей. Неужели не найдется в огромной стране несколько десятков тысяч молодых людей, готовых посвятить свою жизнь великому делу всенародного просвещения? Вот же возникло — не по указанию власти, а снизу, из обыденной жизни — благородное движение волонтеров.

— Мне всегда казалось, что моя жизнь прописана Свыше. Это ощущение спасало меня много раз. И ваша жизнь оставляет ощущение подобного чуда. Почти столетие жизни, полвека любви, спасение в самых трудных и, казалось бы, безвыходных ситуациях, поиски «правды», которую сейчас уже невозможно скрыть — не это ли полноценная жизнь цельной личности (с учетом всего негатива, свойственного всякому человеку)? Я читаю новости, современные книги, смотрю кино и спектакли и не вижу этой «правды». Неужели «правда» видима лишь при взгляде назад?

— Жизнь — как ощущение чуда? Жизнь сама по себе и есть чудо. Некоторые ученые, астрофизики, считают, что Великая Немота космоса означает, что органическая разумная жизнь только на планете Земля и существует, возникла случайно, что это, так сказать, исключение из правил, гигантская флуктуация.

Ощущаю ли свою жизнь как бы «прописанной Свыше»? Могу лишь сказать, что благодарен Господу за долгую жизнь, за то, что уцелел на войне, не истлел на дне Финского залива, не загнулся от дистрофии в блокаду. И — за большую любовь, осветившую мою жизнь.

— Я подсчитал однажды, что живу с вами в довольно тесном общении одну десятую часть вашей огромной жизни. И надо сказать, что осознание вашего присутствия в мире, присутствия жизненного и творческого, много раз помогло мне в трудную минуту. Скажешь: «Войсунскому сложнее бывало...» Скрипнешь зубами, помолитесь и опять живешь. А в вашей жизни были такие «спасатели» люди?

— Да, были. На войне, когда обстрелы, бомбежки, лесные пожары, взрывы мин у корпуса корабля, — в трудные минуты, когда кажется, что все летит к чертям, мелькала беспокойная мысль о моих родителях, о моей богомольной бабушке. Ужасно не хотелось их огорчать, ужасать.

И — мысль о Лиде. Ей, девушке из параллельного класса, на школьном выпускном вечере я признался в любви. Она ждала меня всю войну. Пережила первую, самую страшную блокадную зиму в Питере, эвакуацию по Ладогге, массу превратностей тыловой жизни. Осенью 1944-го я, получив кратковременный отпуск, разыскал Лиду в Махачкале, мы поженились. Вот она была моим «спасающим» человеком. «Ожиданием своим ты спасла меня», — это лучшая строка из стихотворения Симонова.

— Герои «Балтийской саги» вместе воевали, прожили рядом многие годы, трудные, но для многих счастливые. Но не бывают счастливыми всегда и все... Это банально, но не отменяет предопределенности Судьбы и злого Рока. Не об этом ли говорит один из ваших героев — Боголюбов — называя диалектикой жизни? Или все-таки понятие «правда жизни» наилучшим образом сформулировал Кант, срифмовав (уравняв) «любовь к жизни» и «любовь к правде»?

— Что до «правды жизни», то, конечно, оцениваешь ее «при взгляде назад». Но если тебе не хватает этой правды в книгах и кинофильмах, то есть ведь и другие ориентиры. Любовь, семья, работа, общение с друзьями, застолье. «Надо возделывать свой сад», — заявил один мудрый писатель (если не ошибаюсь, Вольтер). Отличная обобщающая формула.

* * *

Никак не мог успокоиться, после такой весомой классической отсылки моего собеседника. Чувствовался некий дружеский подвох. Пришлось порыться в Вольтере... Оказалось, что слова эти из его знаменитого «Кандида...»

А хитрость и мудрость Войсунского заключалась во второй части названия повести «Кандид, или Оптимизм».

Конечно же, вот она — простая формула смысла жизни писателя Евгения Львовича Войсунского: жить своей жизнью и делать свое дело, т.е. то, чем призван заниматься. И еще... как бы ни складывались обстоятельства — сохранять оптимизм и любовь к правде.

Во время прочтения «Балтийской саги» написалось стихотворение, посвященное Евгению Львовичу, которое я ему и подарил.

*Под мелким дождичком у стенки Усть-Рогатки
Пыхтит из вечности буксирный пароход...*

Евг.Л. Войскунский, «Балтийская сага».

«В казарме на острове Котлин дождится тоска...
Механику снов благодарность за вечные бредни:
из школьного прошлого катит киношку во снах, —
шутник и, как водится, даже, конечно, охальник.
Храпит мой соседущка... Это снаружи — война.
Блокада... А в сердце — мечты глубина и длина...
Измерить ее мне, как штурману — вовсе нетрудно.
Так век не избыть все подробности щедрости людной...»

Читатель, расспросами мучай про «клецки в супу»,
про Мишу и Женю на «Сталине» спасшихся чудом.
Читатель, ты жив? Ты нашел в этой книге судьбу
страны, иль тебя не о том время требует думать?
Тогда прогуляйся по улицам тихим Кронштадта,
твердя между строк: гавань Средняя, гавань Лесная,
Купеческая, Каботажна... строги и парадны.
Лед тает, готовится флот, и в соборе изрядно
молитвы апостоле Первозванне возносятся, славя...

Читаю, пишу, вспоминаю, как встретились мы —
Войскунский-фантаст и Лукин — журналистопит...
Коньяк нам и чай убавляют всесиле тьмы.
На пользу душе, вы поверьте, хороший напиток.
Войскунский смеется. Дописана сага его.
Полвека любви окрыляют примером поэта,
запомнил ровесник из юности шибче всего
Плеск звездных морей и земную из рыбы котлету,
и женское счастье, когда возвращался домой
из дальних ли странствий иль просто поездки за город,
особенно, если все новости полны войной...
И рвутся в Поэмы и в Оды свершения смертных.
Но старец — мудрейший Войскунский — шепнет по секрету,
что тонуций «Сталин» включен уже в ангельский флот,
ждет Петр долгожданной разгрузки у пристани вечной,
что все — впереди... будем живы... что мир дерзко молод
и в новом столетье, как в прошлом, наивно беспечен.
Так выпьем! Заздравная чаша продолжит пусть речи...
Под дождичек мелкий у стенки пыхтит пароход...

Беседу вел Борис ЛУКИН

Семен Малякшин, радист подводной лодки, происходил из хорошей семьи: отец его Константин Семенович был детским писателем. Начиная он битву жизни актером Театра юных зрителей. Своими шутками, озорными четверостишиями молодой вихрастый остро слов обратил на себя внимание Самуила Маршака. Он-то, уже набравший известность поэт и драматург, посоветовал актеру Малякшину попробовать силы в литературе. И дело пошло. Первые стихотворные опыты напоминали маршаковские «Багаж» и «Прогулку на осле», потом, однако, окрепла рука неопита, появились веселые рассказы для детей — их печатали в журналах «Ёж», потом и в «Пионере». В ТЮЗе приняли к постановке комедию Малякшина. К тому времени он остепенился, был женат на юной актрисе, и уже в их комнате на улице Рубинштейна попискивал младенец, Сенечка, серьезнейшее существо.

Сенечкой называли его родители, и почему-то и в школе, и на физфаке так обращались к нему одноклассники. Уж таким он уродился — доброжелательный, любящий, чтоб все было по справедливости. Изредка, но все же встречаются в разнообразной человеческой массе подобные люди — *общие любимцы*.

С детских лет пленили Сенечку стихи и звезды. Юный книголюб бегал в Дом пионеров на занятия кружка любителей астрономии. В редкие для Ленинграда ясные вечера, когда раскидывалось в мощной своей красе звездное небо, очистившееся от вечных облаков, Сенечка Малякшин находил в нем ковши обеих Медведиц, строгие рисунки Волопаса, Ориона, Кассиопеи и других знакомых созвездий. Бормотал строки из Ломоносова: «Открылась бездна звезд полна. / Звездам числа нет, бездне дна», из Баратынского: «Себе звезду избрал ли ты? / В безмолвии ночном / Их много блещет и горит / На небе голубом». Избрал он себе Арктур, альфу Волопаса, ее и отыскивал прежде всего, и чудилось Сенечке, что вокруг Арктура ходит невидимая отсюда планета, а на ней стоит и вглядывается в далекую звезду Солнце разумный арктурианин — и в черной бездне космоса встречаются, перекрещиваются их ищущие взгляды.

Он был по-юношески твердо намерен стать астрономом, или точнее — астрофизиком, потому и поступил по окончании школы на физический факультет. Но прочулся лишь один год: в сороковом ему исполнилось восемнадцать, и по новому указу о всеобщей воинской обязанности пошел Семен Малякшин на военную службу. Думал отслужить два года в армии и вернуться к учебе, но — выбора-то не было — угодил на флот. Выучившись в Кронштадте, в учебном отряде, на корабельного радиста, был он назначен на подплав, на подводную лодку типа С.

«Себе звезду избрал ли ты?» — пробормотал Сенечка, ступив на узкую стальную спину «эски». Да нет, ничего он не избирал. В оргмоботделе не спрашивали, где ты хочешь служить. Вокруг было сумрачно и дождливо, на пирсе тьявал случайный, кем-то забытый щенок. Сенечка, поднимаясь по крутому трапу на мостик лодки, бормотал: «И в масляной воде качалась и шипели/ На якорях железные медузы».

«Эска» капитан-лейтенанта Сергеева была vezучая. Выдержала первые удары войны, торпедировала три судна противника, уцелела в таллинском исходе. В начале октября лодка, обстрелянная немцами с южного берега, перешла из Кронштадта в Ленинград, встала на зимовку у Петровской набережной.

Получив увольнение, Сенечка помчался домой, в центр, на улицу Рубинштейна. Только перешел Кировский мост, как начался обстрел. На

Марсовом поле, изрезанном укрытиями-щелями, Сенечка сиганул в одну из них. Там сидели на холодной земле несколько женщин с кошелками в руках. Почти целый час просидел Сенечка в щели и слушал, как женщины говорили о своих тяжких жизнях на войне.

Потом он быстро шел по Садовой, близ кинотеатра «Молодежный» увидел полуразрушенный дом, женщин с лопатами среди завала. Еще недавно, летом мирного сорокового года, смотрел он в «Молодежном» фильм «Истребители», там здорово пел Бернес хорошую песню: «В далекий край товарищ улетает...» Рядом сидела Лена, однокурсница с физфака, — он, Сенечка, пригласил ее, и вот она в пестреньком своем сарафане сидела рядом, а он мучительно хотел обнять ее за открытые пухлые плечи, но так и не решился.

На Невском тоже зияли пробоины в сомкнутых рядах домов. Кричали плакаты: «Враг у ворот Ленинграда!» Мешками с песком были завалены витрины кафе-автомата на углу улицы Рубинштейна.

Взлетел на третий этаж родного дома. Ему отворила дверь Инна, семилетняя сестренка, с воплем «Сенька!» повисла у него на шее. Всегда над ее черноволосой головой возвышался, как петушиный гребень, крупный красный бант, а сегодня он был небрежно повязан где-то сбоку, над ухом.

— Непорядок на Балтике, — сказал Сенечка, входя за сестрой в комнату. — Дай-ка перевяжу тебе бант.

— Я сама повязала утром, — тараторила Инна, кивая на каждое слово. — Мама ушла в пять часов в очередь, еще не пришла... Ой, Сенька, тебе морская форма как идет! А ты знаешь...

— Постой, Инка. В какой очереди мама?

— Ну, в булочной, за хлебом. Ой, Сенька, по карточкам мало дают, мама сказала, не знаю, как тебя прокормлю...

— Погоди, Инка...

— Мама говорит, за декаду сто грамм мяса, двести грамм крупы, а я не знаю, сколько это...

— Это мало. Ну помолчи минутку. Что слышно о папе? Есть от него письма?

— Да, пришло вот вчера... нет, раньше... Он в Аранби... Никак не запомню...

— В Ораниенбауме. Ну, жив, значит.

Сенечка со вздохом сел на диван. Инна — позднее дитя Малякшиных — продолжала болтать, теперь — о Зинаиде Генриховне, соседке, и ее любимом коте Гекторе, которого она не знает, как прокормить, кошкам и собакам ведь продуктовых карточек не дают, а кушать они тоже хотят, как люди...

Тут мама пришла. Сенечка кинулся к ней, забрал сумку, снял с Людмилы Васильевны пальто. Она, безумно усталая, повалилась на диван. Ее кукольное лицо со вздернутым носиком и ямочками на щеках, с улыбкой обращенное к сыну, было по-прежнему красиво и, как бы поточнее выразиться, зовуще-беззащитно. Она ведь в театре, в ТЮЗе, была травести — играла мальчиков, девочек тоже. В восемнадцать вышла замуж за Константина Малякшина, у них головокружительная была любовь — а теперь война перевернула всю жизнь. Малякшин ушел на фронт, его определили, как писателя, в газету одной из дивизий, он чуть не погиб под Кингисеппом, а потом оказался со своей «дивизионкой» на Ораниенбаумском плацдарме. Людочка, оставшись без мужней защиты, растерялась было, но, что поделаешь, пришлось приспособиться к жизни в блокаде — к об-

стрелам и бомбейкам, к самому страшному, чего никто в Питере не ожидал, — к нарастающему голоду. По ночам она, с другими жильцами дома, дежурила на крыше. Плача от страха, хватала лопату и закидывала песком зажигательные бомбы, разбрызгивающие огонь и едкий дым.

— Сенечка, слава богу, ты живой, — улыбалась Людмила Васильевна, промокая платочком серо-голубые беззащитные глаза. — Мой дорогой. Ты плаваешь на подводной лодке, это страшно, да?

— Совершенно не страшно, мама.

— Сенечка, что же это делается? В очереди говорили, что немцы Вязьму взяли и наступают на Москву. Как же так? Считали, что мы всех сильней. Даже песню пели: «От тайги до британских морей...»

— Мама, ты отдыхай. Лежи, лежи!

— Ну как же, чаем тебя напою. Вместо сахара дали сегодня соевые батончики...

Людмила Васильевна сладкое обожала. Пока еще были деньги, оставленные мужем перед уходом на фронт, она на Сенном рынке покупала горелый сахар — спекшиеся куски черной сладкой земли, извлеченной из-под разбомбленных Бадаевских складов. Промыть как следует такой кусок и откусывать, зашивая кипятком, — вот, значит, и чаепитие.

Грозное время заваливало город сугробами, лишало его жителей воды, тепла и света, морило голодом. *Жители...* само это слово теряло привычный смысл... не жители, какая там жизнь, *тени* — вот кто... тени, бредущие по ущельям улиц... замерзающие в грязных пещерах жилищ... «У себя на кровати замерзал как в степи», — звучал из черных тарелок репродукторов надтреснутый голос поэта Ольги Берггольц.

«Пещерный быт ворвался в Ленинград», — думал Сенечка Малякшин, бредя по проходам, протоптанным в высоких снежных завалах. Нелегко было ему, получив увольнение, одолеть дорогу до улицы Рубинштейна. Ноги, ослабленные дистрофией, плохо служили намерениям. Схватиться бы за трамвайную подвеску (думалось ему) и скользить по ней... но толстые наросты льда сковали провода...

Каждый раз приносил он ломтики хлеба, два-три кубика рафинада, урываемые от своего скудного рациона. Тащил какие-нибудь деревяшки для печки. «Буржуйку» поставил в комнате Малякшиных умелец, пожилой рабочий сцены из ТЮЗа. Любочка расплатилась с ним банкой кофейного напитка из прошлой жизни и кисетом с филичевым табаком, принесенным Сенечкой.

С каждым разом — видел он, добравшись до квартиры, — становилось все хуже. Мама и сестра ободрали в комнате обои, пытались сварить нечто съедобное из высохших еще в прошлом веке желтых пятен клея. Сенечка брал ведро и плелся на Фонтанку, по скользким ступеням спускался к проруби. Однажды — в конце декабря, под Новый год — притащил он ведро воды и, войдя в подъезд, увидел знакомую пожилую почтальоншу — она, закутанная в многослойные одежды, присела отдохнуть на ступеньку.

— Ты из двенадцатой? — сказала она чуть слышно. — От хорошо... а то мне не подняться... тут письмо вам...

В казенном письме начальник штаба такой-то пэ-пэ извещал, что седьмого декабря с.г. политрук Малякшин К.С. погиб смертью храбрых в боях за Родину...

Сенечка, вслух прочтя эти три машинописные строчки, упал на стул, глотая холодный тяжелый воздух. Людмила Васильевна, опухшая от

воды, которую пила чрезмерно, как лежала на кровати, так и осталась молча лежать, упреив взгляд в черный от дыма «буржуйки» потолок. А Инна, резко похудевшая, сидела, опустив нечесаную черноволосую голову, и водила пальцем по столу. Она, знаете, обожала переводные картинки — их потрешь мокрым пальцем, и на бумажном листе возникают цветные рисунки — парусники в море, домики на курьих ножках, смешные человечки — все что хотите. Картинки были все переведены (уплыли парусники), а привычка осталась, Инна часами сидела, вода пальцем по пустому столу.

Потом был январь.

В соседней комнате тихо умирала Зинаида Генриховна, вдова незнаменитого, но прекрасного художника и сама художница, иллюстратор книг. Вместе с ней умирал ее любимый кот Гектор — от голода облезла его роскошная бело-рыжая шкура, обтягивающая ребра и неровный позвоночник. Соседи с первого этажа покушались на жизнь Гектора, но Зинаида Генриховна сама держалась из последних сил, но не съела своего любимца и другим голодным людям не позволила.

Людмила Васильевна в январе стала сама не своя. Бродила по коридору, бормоча что-то, и однажды подстерегла Гектора, попыталась его схватить, но кот увернулся. Сенечка в тот день приходил, видел это, увел мать в комнату. Людмила Васильевна, кривя рот в ужасной улыбке, спросила:

— А если молотком? Где наш молоток, а?..

Сенечка уложил ее, укрыл одеялом, поплелся на Фонтанку по воду. Вернувшись, увидел: Инна сидела на полу возле печки и, раскачиваясь, грызла принесенное им полено.

Этот день, двадцать первое января, был самым страшным в жизни Сенечки. Инна цеплялась за полено, но он отобрал и нарубил его, разжег «буржуйку». Два ломтика черняшки, посыпанных солью («сэкономил» от своего завтрака), принес он в тот день, один ломтик дал Инне и поставил перед ней чашку с кипятком. Второй ломтик хлеба предназначался маме. Сенечка позвал ее, но она не откликнулась, не шевельнулась. Он шагнул к кровати, чтобы поднять маму. И отпрянул, простонав. Людмила Васильевна лежала с неподвижными глазами, упертыми в потолок. Ее опухшее синеватое лицо было, как маска, нисколько не похожее на прежнее бело-розовое лицо хорошенькой травести. Сердце остановилось. Остановилась жизнь, которую и жизнью не назовешь.

Сенечка закрыл глаза матери.

— Мама умерла, — сказал он в тишине, простроченной привычным стуком метронома.

Инна, будто и не услышав, допивала остывающий кипяток. Вдруг вскочила — и, зарывав, упала на тело Людмилы Васильевны, укрытое коричневым одеялом.

Сенечка сидел, оцепенело глядя в красный зев догорающей «буржуйки». Потом уложил Инну на ее кровать, укрыл, дал второй ломтик с солью. Инна, всхлипывая, вонзила в хлеб голодные зубы. Сенечка велел ей из комнаты не выходить. Надел шапку и пошел в ЖАКТ, то есть домоуправление. Оно было в полуподвальном помещении соседнего дома. С очищенного от снега тротуара перед двумя его оконцами сочился серый, будто ненастоящий свет. Начальница ЖАКТа, женщина с суровым мужским лицом, в овчинном тулупе, прервала крупный, судя по повышенным тонам, разговор с тощим человеком, закутанным в огромное одеяло, из-под

которого торчали черные валенки. Хмуро выслушав Сенечку, начальница спросила:

— Малякшина — это которая артистка? Вот, Федосеева, — обратилась она к человеку в одеяле, — совсем молодая умерла, артистка, в тридцать лет...

— Тридцать восемь, — сказал Сенечка.

— Ну, тридцать восемь. А тебе сколько, Федосеева?

— Сколько ни есть, все мои, — прохрипела та.

— Ну, иди. Канализация не только у тебя, у всех не работает. У всех невозможная жизнь.

Сенечке начальница сказала, чтобы принес маму.

— Тут у меня еще четыре лежат. Как раз обещали завтра машину при-слать, отвезут на Серафимовское кладбище.

— Один я не смогу... не управлюсь...

— О-хо-хо... Кто бы мне помог управиться?.. Ну, обожди. — Начальница дописала карандашом какую-то бумагу, медленно выводя буквы пальцами в перчатках. И грузно поднялась. — Чернила замерзли, ну и дела, — сказала она. — Пошли, моряк.

Войдя в комнату Малякшиных, начальница огляделась в полутьме.

— Это покойница? Сними с нее шубу и найди простыню, завернуть. А это кто? Сестра? Сколько лет? Что делать будем? Надо в детдом оформить.

— Нет, — сказал Сенечка. — Возьму ее к себе.

Он и сам оторопел от этих слов — они как бы сами собой возникли, без какого-либо размышления.

— Куда возьмешь? — спросила домоуправ, вздернув одну бровь выше другой. — На военный корабль?

— Да.

Сенечка в этот страшный день был сам не свой. В него будто вселился некто *другой*, управлявший поступками и словами.

Когда он с помощью начальницы выносил из комнаты тело Людмилы Васильевны, Инна вдруг сползла с кровати с плачем, с криком:

— Зачем уносите?

Пришлось Сенечке на нее прикрикнуть, чтоб легла и лежала, а он скоро вернется. Когда несли нетяжелую ношу по темному коридору, начальница сказала:

— У ней глаза опухли совсем. Ты сможешь ее подкормить?

— Подкормлю, — ответил Сенечка.

— Карточку ее взять не забудь. Говорят, с двадцать четвертого паек увеличат. Детям будет хлеба двести пятьдесят.

В домоуправлении, в соседнем с конторой помещении, в котором в прежние годы проводились собрания жильцов, холодина была как на улице. Мебели не было никакой; скамейки, прежде тут стоявшие, конечно, спалили в печках. На полу лежали три трупы, завернутые в простыни, и еще один — в белой майке и ватных штанах, в штопаннх синих носках.

Положили с краю тело Людмилы Васильевны. Сенечка, став на колени, поцеловал ледяной лоб матери. Он понимал, что больше никогда ее не увидит.

Впоследствии он не мог вспомнить, откуда взялись санки. Может, домоуправ их дала? Факт тот, что он усадил Инну, одетую во все теплое, что нашлось, на санки и длинным ремнем от старого чемодана обвязал ее ноги, чтоб не свалилась по дороге.

И потянул.

Сил у него хватило, чтобы дотянуть до кинотеатра «Молодежный» на Садовой. Тут он сел в сугроб, свернул самокрутку и стал ждать, кто бы дал прикурить. Инна понуро сидела на санках с закрытыми глазами. Кажется, ей было все равно — ехать или не ехать, жить или не жить. Сенечка задремал.

— Корешок, ты жив чи не жив?

Сенечка очнулся, вскинул взгляд на высокого, как грот-мачта (так ему подумалось), солдата с лицом, похожим на лицо Максима из картины «Юность Максима».

— А я думал, матрос, ты на хрен замерз. Ой! — дурашливо спохватился солдат. — Это баба у тебя на санках? Извиняюсь!

— Сестра, — сказал Сенечка. — У тебя спички есть? Или кресало.

— А как же? Вся бы жись пропала, коли б не кресало.

Он был веселый, этот прохожий солдат. И, что особенно удачно, шел в ту же сторону, что и Сенечка, — к Марсову полю. Вдвоем потянули они сани с девочкой, это ж было для Сенечки такое облегчение. Всю дорогу солдат болтал, вопросы сыпал — какой паек у вас, подводников, — сравнивал со своим, зенитно-артиллерийским. У него заметна была склонность к раешнику, он легко рифмовал:

— У нашего комбата твердая рука, а жена евовная — инженерша о-тэ-ка.

— Это технический контроль? — уточнил Сенечка.

— Ну да, контроль по полной форме, только плохо очень кормит.

Рассказал, что командир батареи велел ему отнести жене-инженерше кусок масла и банку консервов из своего допайка, и он, солдат, отнес, а жена-инженерша на работе была, на заводе «Русский дизель», их квартира запертая, и перед дверью сидит на грязном полу старуха, мама инженерши, и бормочет. Ключи потеряла! Солдат постучал в дверь, чтобы соседи открыли. А старуха бормочет: «Не стучи... никого нету... все померли...» — «Ё-мое, — сказал солдат, — что делать-то будем?» А старуха бормочет: «С ночи в очереди стояли, ждали, а хлеб не привезли... чевой-то там случилось... может, разбомбили...»

— Наши мотористы на «Русском дизеле» работали, — сказал Сенечка, остановившись, чтобы дух перевести.

— Ну, мы-то не мотористы, — сказал солдат. — Мы артиллеристы. Знал бы, где этот завод, я б туда побег. Ну, давай, подводник. Поехали!

И продолжал рассказывать. Как он дверь плечом толкал, а она не поддавалась. И как ножом в замке ковырял — тоже зазря. И вдруг (тут солдат остановился и на Сенечку странно посмотрел)...

— Вдруг дверь открылась! Хочешь верь, хошь не верь, а она сама открылась! Я вошел, там темно, и нету никого... Это как понять, а? Может, врут, что его нету?

— Что ты хочешь сказать? — возрился Сенечка на человека в солдатской длинной шинели.

Но тот не ответил. Дернул за веревку и пошел, наклонясь вперед. И Сенечка, оглянувшись на сестру, потянул веревку. Инна сидела на санках, низко опустив голову, обвязанную темно-красным платком, и, кажется, спала. Ветер сорвался с плывущих над городом косматых туч, свистнул, ударил снежным зарядом.

На Марсовом поле, близ заколоченного досками памятника Суворову, солдат и Сенечка простились.

— Спасибо, — сказал Сенечка, — ты здорово мне помог.

Солдат прищурился на него — ну в точности как артист Чирков, игравший Максима, и ответил:

— Это ладно, что помог. А вот надо, чтоб сестру сберег.

Кивнул и зашагал к своей батарее. Снежный заряд странно быстро замел его длинную фигуру.

На Кировском мосту бешеный порыв ветра чуть не сбил Сенечку с ног. (Он, надо сказать, и вообще-то был subtilный, некрупного сложения, а теперь еще и ослабленный дистрофией). Из последних сил он дотащил санки до причала, до трапа «Иртыша». Развязал ремень, снял Инну с санок. Сверху удивленно смотрел на них вахтенный у трапа.

— Ты сможешь идти по трапу? — спросил Сенечка сестру. — Ну, по лестнице.

— Не знаю, — прошептала Инна.

Она, сделав несколько шагов, опустилась, села — не было сил подняться на высокий борт плавбазы. Сенечка поднял сестру — а у него откуда силы взялись? — и понес вверх по трапу. А там уже стоял, вызванный вахтенным, помощник командира «Иртыша»...

Ну и покатило, перекидываемое, как футбольный мяч, «дело» о непозволительном приносе ребенка на боевой корабль. Накормить-то Инну, конечно, накормили: в кубрике, где размещалась команда «эски», в обеденный час ее усадили за стол рядом с Сенечкой и налили в миску две чумички супу из бачка.

— Не торопись, — сказал ей Сенечка. — Ну, не торопись, говорю.

Досыта наелась девочка. Но вскоре у нее живот разболелся, и поднялась температура. В корабельной санчасти занялся ею судовой врач. Там, в санчасти, отгородили для Инны, простыней завесили уголок. Она тихо лежала на койке, спала или думала неизвестно о чем.

Вряд ли ей привиделась *эта, костлявая*, которая неустанно косила косою по всему Ленинграду. Но от Инны ее, страшную, отогнали. Да, отбросили, вот так-то. Сенечке спокойнее становилось на душе, когда он видел улыбку, вернувшуюся на лицо сестры, слышал ее позвончевый голос. Судовой доктор поставил девочку на ноги. Сперва несмело, а потом все более резко забегала Инна по корабельным помещениям, зато пала быстрыми ножками по трапам. Матросы улыбались ей. Учили распознавать корабельные сигналы. Когда горнист играл, возвещая обеденный час, Инна звонким голосом подпевала бодрому сигналу, согласно матросскому фольклору: «Бери ложку, бери бак! Хлеба нету — кушай так!» Услышав сигнал приборки, орала в такт горну: «Иван Кузьмич, Иван Кузьмич, бери кирпич, бери кирпич, драй, драй, драй!» Матросы одобрительно смеялись. Советовали ей, между прочим, не попадаться на глаза командиру «Иртыша».

Понятное дело, он, командир плавбазы, ничего не имел против девочки, ставшей корабельной любимицей. Но служба есть служба, не так ли? Порядок должен быть. А он не допускал присутствия на боевом корабле посторонних лиц, в том числе, конечно, и детей.

В общем, стали готовить оформление Инны в детдом. Сенечка дал необходимые сведения о сестре, на душе у него было тяжело, беспокойно, но он понимал, что другого выхода нет.

— Не хочу в детдом! — кричала Инна.

— Мы скоро уйдем из Питера, — объяснял Сенечка. — Моя лодка уйдет в поход. «Иртыш» в Кронштадт перейдет.

— Ну и что? — бунтовала девочка. — Я разве мешаю? Я на «Иртыше» буду тихо сидеть.

— Инка, да пойми же, нельзя детям в боевой поход...

— Не хочу, не хочу! — Инна плакала, кричала. — Сенька, не хочу в детдом!

Вдруг все переменялось.

В тот апрельский день командиры лодок, в том числе и командир «эски» капитан-лейтенант Сергеев, с утра занимались на тренажерах: проигрывались различные варианты торпедных атак. Занятия были прерваны воздушным налетом — разрывы немецких бомб опасно приблизились к Петровской набережной, потом переместились вглубь Петроградской стороны. Сергеев поспешил на свою лодку. Повреждений от бомбежки, слава богу, не произошло. Вернувшись на плавбазу, Сергеев продолжил заниматься на тренажере, а вернее, обсуждать с другими командирами преимущества залповой стрельбы.

Вопросами тактики торпедных атак была забита голова Сергеева, но где-то сбоку билась беспокойная мысль. Как только наступил обеденный час, он прошел в рубку оперативного дежурного. Не полагалось занимать тут телефон частными разговорами, но... Штабной кашлей, давний приятель по училищу, бросил Сергееву: «Коротко!» и отвернулся.

Сергеев набрал номер городского радиокомитета и попросил позвать редактора Чернявскую.

— Римма, — сказал он, услышав ее раскатистое «алло-о-о», — бомбежка вас не зацепила? Ты живая?

— Пока живая. А ты? Когда домой придешь?

— Может, в воскресенье забегу. Ну ладно, будь.

— Миша, я вот что хотела... Я думала насчет этой девочки, о которой ты говорил...

— Ты же отказалась.

— Да. Но, понимаешь... Я думала, думала, и... в общем, Миша, давай возьмем. Хотя время не такое, чтобы...

— Я понял, Рим. Очень хорошо. Когда сможешь прийти на «Иртыш»? Тебе же надо посмотреть на девочку.

— Завтра, часа в четыре, — сказала Римма.

Тут надо пояснить. Около трех лет были они женаты — Сергеев и Римма Чернявская. Познакомились на вечеринке у однокурсника Сергеева, тоже в то время старшего лейтенанта, служившего на морских охотниках, и была там его сестра Римма, студентка-выпускница института журналистики. Произошло то, что бывает нечасто и носит возвышенное название — любовь с первого взгляда. Сергеев решительно прервал отношения с любовницей, женщиной-экономистом, которая, осерчав, написала на него жалобу в политотдел. А он, Сергеев, в то время еще не был членом партии (вступил позже) — за что же было его наказывать? Ну, погулял, и все, дело житейское. Ограничились беседой у замначполитотдела о необходимости соблюдать моральный облик. Сергеев и Римма поженились и стали жить на Большой Пушкинской в квартире родителей Риммы — профессора-химика Чернявского и его жены, тоже профессора, но не химии, а психологии.

Военно-морская служба — особенно когда он стал командиром подлодки — нечасто отпускала Сергеева на Большую Пушкинскую. Каждый его приход был как праздник. Но вот что: не беременела молодая жена. Это вносило огорчительную ноту в прекрасную музыку любви. Оба хоте-

ли ребенка, но — мешало какое-то, что ли, физиологическое несовпадение. А на третьем году их непростой семейной жизни началась война.

Блокадная зима, как бы это выразить, подсушила обоих. Забота о пропитании, о выживании заслонила все прочие выплески душевных сил. Очень сдал профессор, отец Риммы. Сергеев приносил на Большую Пушкинскую свой офицерский дополнительный паек. В январе родители Риммы отправились в эвакуацию по ладожскому льду, профессор, слава богу, выжил, теперь они в безопасности, в Саратове.

Впервые за эту ужасную зиму Римма улыбнулась мужу:

— Может, доживем до весны?

— Непременно доживем, — сказал Сергеев, обняв ее.

Однажды он поднялся на борт «Иртыша», отдал, как полагается, честь флагу, и тут выбежавшая из-за надстройки девочка в вязаной красной шапочке остановилась и, как бы отвечая ему, подняла руку к виску. Сергеев засмеялся и скомандовал: «Вольно!»

Разумеется, он знал, что его радист Малякшин привел на плавбазу сестренку, — о них, осиротевших, рассказал ему военком Гаранин. И вот он увидел Инну. Знаете, Сергееву врезалось в память, как девочка с бледным кукольным лицом, надув губы, чтобы сдержать улыбку, дурашливо отдает ему честь. И пришло Сергееву в голову: надо ее удочерить. Пусть будет она у них с Риммой — дочкой.

Римма, когда Сергеев предложил ей это, отказалась:

— Это же такая ответственность, ты понимаешь? Где взять столько сил?

Сказано было точно, блокада слишком много сил перемолола, унесла. Как не понять.

Однако в истерзанный город робко, осторожно, натываясь на непроходимые сугробы, вступила весна. Понемногу город оживал, согревался, очищался от грязи и снега, от зимнего морока. Понемногу увеличивали паек. В апреле ленинградцы плакали, увидев пущенный трамвай...

По Неве плыли последние льдины, сходил ладожский лед, много повидавший истекшей зимой. Скоро подводные лодки отлепятся от невского гранита, уйдут в Кронштадт и, наверно, дальше — уйдет и капитан-лейтенант Сергеев на своей «эске»...

— Миша, — сказала Римма, — я передумала. Давай возьмем эту девочку.

Он понимал: ей было страшно остаться одной.

Римма пришла, поднялась на борт «Иртыша». Она принарядилась — хорошо смотрелась в синем демисезонном пальто (хоть и излишне свободно свисавшем с узких плеч). С довоенным, можно сказать, шиком сидел на голове большой синий берет с блестящей штучкой сбоку. Ее щеки запали, обтянув скулы, но все же лицо по-прежнему было ярко красиво.

Сергеев провел жену в свою каюту, и вскоре пришел вызванный радист Малякшин со своей сестрой. Инна оробела, воззрившись на незнакомую женщину. Римма заговорила с ней приветливо, спросила, умеет ли девочка читать, рисовать, петь. Инна отвечала односложно, взявшись обеими руками за края вязаной шапочки и натягивая их на уши, словно не желая ничего слышать. На вопрос, какие стихи знает наизусть, она ответила:

— Я знаю много стихов. Только не буду читать.

— Почему? — удивилась Римма.

— Не хочу.

— Ну и правильно, — вмешался в женский разговор Сергеев с легкой такой улыбочкой. — Я тоже их не люблю — стихи. Кому они нужны?

— Товарищ командир, — не понял его скрытого юмора Малякшин. — Что это вы говорите?

— Тебе, Сенечка, стихи нужны, знаю. А нам с Инной — нет. Ну их! И тут девочка засмеялась, она ведь была смешливая.

Короче говоря, постепенно освоилась Инна с пугающей мыслью, что чужие тетя и дядя хотят взять ее к себе и удочерить. «Инка, — сказал Сенечка, — тебе у них будет хорошо». Она верила брату. Никого ведь больше у нее не осталось.

Оформление тянулось почти три недели. И настал в конце мая месяца день, когда горнист последний раз сыграл корабельной любимице сигнал, призывающий к субботней большой приборке: «Иван Кузьмич, Иван Кузьмич, бери кирпич...»

